

Ирина Белопольская

## ВОРОНЕЖ И МЫ



### СЕМЬЯ

Когда началась Великая Отечественная война, наша семья жила на улице, называвшейся Вторая Трудовая. Прежде она звалась Нижней Дьяконовской, в отличие от Верхней, в мое время носившей имя Первой Трудовой. Эти улицы существуют и поныне. Их впоследствии объединили в одну, называемую просто Трудовая. Одним своим концом эта улица выходит к Воронежскому водохранилищу (а раньше к пойме реки Воронеж), с другой стороны, когда она была Второй Трудовой, упиралась в Солдатский переулок, который после объединения пересекает уже одну улицу. Но в моём сознании Вторая Трудовая всё же остаётся отдельной улицей, тем более, что она не похожа на бывшую Первую. Наша — ровная, более удобно расположенная, а Первая Трудовая проходит по довольно крутым бугру, ведущему к железнодорожному полотну. От проходящих мимо паровозных составов раньше там всегда ощущался едкий сильный запах угля, клубами заходил паровозный дым. Теперь уже всё выглядит не так, как в те времена. И если Первая Трудовая стала лучше — с прокладкой асфальта она сделалась ровнее, а с появлением электровозов значительно улучшилась её экология, то наша улица из-за беспорядочного строительства, всевозможных несогласованных друг с другом пристроек утратила свою привлекательность. Теперь она не такая зелёная, нет у неё прежних уютных уголков, где мы ребятишками собирали и ели паслён, а из-за стоящих почти у каждого дома заезжающих на длительное время большегрузных машин — так называемых дальнобойных — уже нет возможности поиграть в волейбол или лапту — игры нашего детства.

Наш дом располагался в середине порядка домов на северной стороне улицы. Перед

ним росли небольшие деревья белой акации, кустарники шиповника и другие растения. Рядом перед соседним домом поздней весной роскошно цвели два каштана. Ветви сирени огромными фиолетовыми сultanами перевешивались на нашу сторону, и мы вдыхали их замечательный аромат. Земельный участок, на котором стоял наш дом, был небольшой, но бабушка и дедушка со стороны отца сделали его идеальным местом пребывания и зимой и летом. К дому прилегал крошечный дворик и сад, отделённый кустами белой сирени и аккуратным палисадником. За палисадником было сделано нечто вроде беседки — с лавочкой, столиком, за которым в летнее время происходили семейные чаепития из старого-престарого самовара. Его наш дед разжигал шепками. В саду росли несколько яблонь, закреплённых бабушкой за нами, её внуками, поимённо. А во дворе, сколько помню, начиная с весны и до поздней осени благоухали цветы — белого табака, маттиолы, настурции. Вдоль стены дома, ведущей от калитки во внутреннюю часть двора, цвели кусты разноцветных флоксов.

Всё это хозяйство принадлежало нашей бабушке со стороны отца — Клавдии Митрофановне Белопольской, урождённой Михайловой. Бабушка происходила из обедневшей дворянской семьи Воронежской губернии. Её отец Митрофан Иванович был женат на Ирине Пантелеевне, у которой, как рассказывали взрослые, в далёких предках были татары. В их семье родилось 15 детей, из которых семь умерли в младенчестве. Один брат умер пятнадцатилетним, так что до совершеннолетия дожили четыре брата и три сестры. Два брата бабушки — Иван и Александр — умерли на родине, оставив после себя семью. Иван — от тифа во время гражданской войны, Александр — в эвакуации в Нижнем Тагиле, куда

его вначале Отечественной направили стоярежем на оборонное предприятие. Семья его — жена и двое детей-подростков, вывезенные также в эвакуацию, в это время находились деревне, где кормились благодаря матери, подрабатывавшей в местном колхозе. О местонахождении и положении отца они ничего не знали. Через какое-то время до них дошло известие о его смерти, последовавшей, как рассказывали, от недостатка питания. У него украли продуктовые карточки и, будучи одиноким, он не сумел исправить положение, так и умер вдалеке от своих родных.

Двое остальных братьев — Павел и Михаил — к началу революции были уже не в России. Павел после участия в русско-японской войне служил на русско-китайской железной дороге, жил в Харбине, а Михаил по каким-то соображениям уехал в Канаду, где стал фермером. По обрывочным сведениям, которые до нас, детей, доходили, у него что-то не сложилось, он рано умер, и скоро связь с ним и его семьёй оборвалась. Павел же после революции оставался в Китае, где прожил со своей семьёй, по нашим меркам, очень благополучно. Вернулся он в Россию только в 1956 году после того, как многие эмигранты были вынуждены покинуть Китай. Его семья — две дочери со своими детьми и мужьями уехали — одна в Австралию, другая в Америку, а он предпочёл вернуться к себе на родину, в Воронеж, где и прожил до конца своей жизни. Дети его, как явствовало из их писем, так до конца не поняли его решения, обвиняли его в упрямстве, но я никогда не слышала, чтобы он пожалел о своём поступке.

Их сестра, моя бабушка Клавдия Митрофановна, с остававшимися в России родственниками, с мужем и детьми перед революцией вела личное хозяйство на хуторе Большая Яруга рядом с селом Пчелиновка Бобровского уезда Воронежской губернии, где всех их застала гражданская война. Вскоре от ведения собственного хозяйства им пришлось откаться, и семья переехала в Воронеж, где отец бабушки Митрофан Иванович, наш прадед, купил далеко не новый и небольшой по их семье дом.

В этом доме и родились мы с сестрой. В ту пору наши прадед и пррабушка уже умерли, так что в доме практически жили две семьи — наша — семья бабушкиного старшего сына Анатолия, и семья её младшего сына Василия. Пока жива была Клавдия Митрофа-

новна, несмотря на разного рода сложности и противоречия, мы всегда чувствовали себя как некое целое, как общность, живущую по единым правилам и моральным нормам.

Сколько я себя помню, наш дом был всегда переполнен жильцами — людьми, находящимися с семьёй бабушки и нами в самой разной степени родства. Помимо наших семейств, в нём жили родственники по дедовой и по бабушкиной линии. На какое-то время у нас селились также их близкие знакомые. В небольшой пристройке жила до войны даже целая, отдельная от всех семья — я не помню уже, кто были её члены, но помню, что ни в каком родстве с нами они не состояли. Кроме того, в дальнейшем бабушка из-за материальных трудностей сдавала одну комнату квартирантам. Это бывали обычно или молодые семьи, не имевшие ещё своего жилья, или одинокие матери, или студентки, снимавшие угол на год, а иногда и до конца обучения.

Такой густой заселённости способствовала внутренняя планировка дома. Кроме двух кухонь и маленьких прихожих, он состоял из четырёх очень небольших комнат, соединённых друг с другом двумя- тремя дверями, и в зависимости от того, кто в данный момент занимал комнату, одни двери открывались, другие закрывались, создавая видимость изоляции одних жильцов от других. Эта же планировка позволяла в отдельных комнатах организовывать так называемые «углы», отделляемые от остального помещения символическими перегородками, мимо которых можно было проходить, не причиняя беспокойства тем, кто находился за ними. В таком углу на моей памяти жил всё время наш дед. И хотя в доме было всегда много народа, мы, дети никаких стеснений от этого не чувствовали, скорее было интересно — мы участвовали в жизни других, общались с людьми разных возрастов и жизненных правил. Многие из них сохранили общение с нами и уже после того, как обретали собственное жилище. Я не могу вспомнить, чтобы в доме когда-либо были шумные конфликты, громкие скандалы, ссоры. Думаю, что в этом заслуга прежде всего бабушки Клавдии Митрофановны.

Они с дедом были во многом очень непохожи друг на друга. Дед в своё время успешно закончил Воронежское третье приходское училище, из немногих сохранившихся документов известно также, что он экстерном

сдал экзамен на домашнего учителя. Но судя по отрывочным биографическим данным, применить свои знания ему не пришлось. Некоторое время он был служащим Крестьянского поземельного банка, а с началом Первой мировой войны был взят на военную службу, после чего состоял на разных незначительных должностях — таких, как писарь при каком-либо учреждении, или бухгалтер в магазине «Природа». Из рассказов бабушки мы знали, что дедушка вообще очень тяжело переживал житейские неудачи, часто приходил в отчаяние, у него опускались руки, и бабушке приходилось брать на себя все заботы о семье. Очевидно, эти жизненные обстоятельства сделали его человеком нелюдимым, необщительным. Поэтому я, хоть и знала его, мало что могу рассказать о нем. Плохо представляю себе его характер и настроения.

С бабушкой же Клавдией Митрофановной всё было совсем по-другому. Жизненных трудностей на ее долю выпало в избытке. Чего только стоили её семье гражданская война и последовавшие за ней голодные годы! Из некоторых эпизодов, о которых нам рассказывали родственники, мы, правда, очень мало, но знали, что бабушка и её близкие не раз оказывались в таких положениях, которые в литературе принято называть «пограничной ситуацией». При этом все отмечали не только смелость и деятельную энергию бабушки, но и её преданность семье, прежде всего своим детям. И хотя детство её сыновей пришлось на очень непростые, даже трагические годы, мне, уже взрослой девушке, она не раз говорила, что для неё самыми счастливыми годами были годы, когда она стала матерью. Она навсегда осталась для меня человеком не только огромной жизненной энергии, но и человеком с неиссякаемым интересом к людям, с умением давать близким положительный настрой, жить их интересами до полного забвения себя. Ей была свойственная удивительная душевная открытость. Сколько помню, она всегда выражала готовность пойти навстречу тем, кто в этом нуждался, и уже на моей памяти к ней до конца её жизни приходили её уже взрослые племянники, просто знакомые люди, чтобы посоветоваться, поделиться какими-либо своими мыслями и переживаниями.

Семья бабушки была небогатой, будучи старшей из сестер, она вынуждена была нянчить своих младших братьев и сестёр, а затем своих детей и внуков, заниматься домашним хозяйством. Образования получить ей не

удалось. Но от старших братьев она научилась грамоте. Писала она с трудом, коряво, но знание грамоты дало ей возможность читать, и всю жизнь любимым её занятием было чтение. Читала она много, знала прекрасно отечественную литературу, была самостоятельна в суждениях о людях и о жизни вообще, что делало её интересной собеседницей не только для близких, но и просто для знакомых людей. С бабушкой мы много читали вместе. Часто и то, что в те годы не входило в школьные программы: «Детские годы Багрова внука» С. Т. Аксакова, «Князя Серебряного» А. К. Толстого... Знанием последнего я в дальнейшем однажды нескованно удивила приёмную комиссию при поступлении на филологический факультет ВГУ.

Клавдия Митрофановна, по признанию многих, была не только красивой женщиной, но и одарённой. Сама она нам говорила, что вполне могла бы, как и её сестра — наша баба Лена, петь в хоре Пятницкого. Обе сестры обладали прекрасными певческими голосами, любимым занятием в семье было собираться по вечерам и петь хором. К этому занятию бабушка приобщала не только своих сыновей, но и нас — детей, своих внуков. До сих пор помню, как своими неуверенными и совсем не певческими голосами мы пели с ней «Слети к нам тихий вечер на мирные поля, тебе поём мы песню, вечерняя заря» и т. д. или «Догорай, гори, моя луцина, догорю с тобой и я». Это были любимые бабушкины песни.

Больше всего в ней привлекало её всегдашнее стремление быть полезной окружающим людям, её забота о них, особенно о детях. Как гласит семейное предание, и как бабушка сама рассказывала, — когда она уже готовилась стать женой нашего деда, в селе, где они жили, у местного учителя умерла жена, от которой остался новорожденный ребёнок — седьмой в семье. Жена учителя была сестрой нашего деда, и пока учитель вторично не женился, новорожденный мальчик выхаживался, а затем воспитывался бабушкой, впоследствии мы его знали как дядю Митю. А бабушка всегда говорила, что если бы она не обещала нашему деду стать его женой, она бы не побоялась и вышла замуж за Дмитрия Михайловского, отца семерых детей-сирот. Кстати сказать, все члены этой семьи в дальнейшем до конца жизни бабушки поддерживали с ней связь и всегда относились к ней с огромным уважением.

Со своей стороны могу сказать, что пока была жива бабушка, мы с сестрой и двою-

родным братом росли в атмосфере спокойствия, доброжелательности и ненавязчивой заботы.

Из предвоенного быта нашей семьи у меня в памяти осталось очень немного. Помню только отдельные сценки, отдельные впечатления. Одно из них: я — то ли трёхлетняя, то ли четырёхлетняя — с родителями находилась в драматическом театре в здании на проспекте Революции. Идёт спектакль. Почему-то запомнилось, что это была постановка комедии П. Корнеля «Лжец». Как сейчас, вижу — замолкший, заполненный зрителями до отказа тёмный зал, как огромная опрокинутая чаша, ярко освещённая сцена. Мы в партере, очень близко от сцены. Наверное, выбирая места, родители этим расположением надеялись привлечь моё внимание к сценическому действию. Но я бегаю внизу, между рядами кресел, рядом с родителями. Кругом полная тишина, не раздаётся никакого шикания, никаких выражений недовольства. Я чувствую праздничность и торжественность момента, но мне интересно всё — и сцена, и то, что меня непосредственно окружает. Несмотря на обширность пространства, ярость красок, я испытываю то, что чувствуешь, когда находишься среди своих, когда среда обитания ощущается не как чужая, а как часть самого тебя.

Другое, самое раннее моё воспоминание, связано уже непосредственно с домом. Нашей семье — моим родителям и мне, тогда ещё их единственному ребёнку, бабушка выделила комнату, два небольших окна которой выходили на дорожку, ведущую от калитки во двор мимо довольно высокого забора соседей. От этого в комнату попадало немного света. Ярче всего она освещалась лучами солнечного заката. И вот в этой комнате под вечер напротив окна в отсветах заходящего солнца мы с отцом вдвоём (мама то ли в командировке, то ли ещё в роддоме с моей новорожденной сестрёнкой Ксенией). На простом деревянном табурете стоит таз с водой, кажется, мы что-то стираем. Папа рядом со мной, нагнулся над тазом, который находится на уровне моей головы, я тоже окуняю руки в воду. Других подробностей не помню, даже облик отца представляю себе очень смутно. Но я очень хорошо помню тогдашнее своё ощущение глубокой безмятежности, какого-то счастливого, полного покоя, незыблемости и полноты бытия, которые, как мне кажется, с тех пор я никогда не испытывала.

Чего-то примечательного из обстановки в комнате не припомню. Похоже, что там было лишь самое необходимое. На немногих фотографиях тех лет видна железная кровать, застеленная тонким шерстяным одеялом, какие-то стулья. В доме бабушки я и тогда, и в дальнейшем никогда не видела того, что специально служило бы украшением дома, его комнатам. Всё всегда было чётко предназначено для какой-либо практической цели. Но при этом встречались отдельные вещи, случайно сохранившиеся из прошлого, по-своему выразительные, может быть, даже художественные: стол или комод с резными узорами, аптечка, выполненная из дерева и украшенная врезанным в него изображением совы и т. д. Они сохранялись не только потому, что не хватало денег на новые приобретения, но и потому, что были дороги и по воспоминаниям и просто казались красивее, чем то, что предлагала современная мода.

То, о чём я сейчас вспоминаю, произошло перед самым началом Отечественной войны. К этому времени отец — Анатолий Васильевич после окончания литературного факультета Воронежского пединститута начал преподавательскую деятельность в Воронежском отделении Липецкого педагогического училища. Как сыну служащего ему долго не удавалось поступить в институт, и до этого он уже два года отслужил в армии, ездил в Ростов на заработки, где трудился на тяжёлом и вредном производстве как простой рабочий. Более повезло матери Антонине Николаевне, урождённой Журавлёвой. Она была моложе отца на четыре года, но к началу войны уже закончила Лесотехнический институт и работала ассистенткой на одной из его кафедр. В это же время стал на путь профессионального художника наш дядюшка — брат отца Василий Васильевич. Его жена Марина Васильевна, урождённая Книжник, после окончания Воронежского педагогического института работала учительницей русского языка и литературы в школе.

Когда я представляю себе жизнь нашей семьи, то я думаю при этом не только о семье Белопольских. Женитьба сыновей привела в клан и родственников их жен: Журавлевых со стороны матери, Книжников со стороны жены дяди. Кроме того, существовала еще близкая всем ветвь Михайловских. Это были люди, объединенные не только родственной близостью, но и общностью социальной принадлежности — низовая провинциальная ин-

теллигенция, исполненная уважением к образованию и стремящаяся к нему.

Роковой 1941 год прервал и видоизменил судьбу всего «клана».

## НАЧАЛО ВОЙНЫ

К этому времени мне было четыре года, столько же — чуть больше моему двоюродному брату Илье. Сестра Ксения родилась 8 января 41 года. Когда 22 июня по радио объявили о начале войны, отцу только что (18 июня) исполнилось 32 года, а маме 28 лет. Отца мобилизовали на второй же день после начала военных действий. Мама впоследствии говорила, что уже сразу после речи Молотова по нашей улице шёл милиционер с повестками от военкомата. Отец до своего поступления в институт два года прослужил в армии сначала рядовым, а затем комвзвода, был на всевозможных военных сборах и к началу войны числился младшим лейтенантом запаса.

Я помню, как уходил отец. Был яркий, солнечный день. Мы вчетвером (кроме нас троих еще и близкая знакомая родителей — Таисия Елизаровна Соколова — директриса училища, где служил отец) идём по нашей улице. У Первой Трудовой меня оставляют, и я вижу, как взрослые поднимаются на пригорок, ведущий к железнодорожному полотну. Не могу сейчас описать, как тогда они выглядели. Но очертания их фигур, особенно фигуры отца, остались в памяти, как осталось в памяти сознание того, что этот миг имеет особое значение для всей моей жизни.

О переживаниях взрослых в эти дни я ничего не могу сказать, потому что слишком давно это было. Кроме того, взрослые всячески ограждали нас, детей, от тягот и испытаний, которые в эти дни на них обрушились. Ни тогда, ни после я не видела бабушкиных слёз, наоборот, жизнь в доме продолжалась, как была до этого. Впоследствии бабушка рассказывала мне, что значило для неё объявление войны. Она говорила, что в этот момент для неё как бы всё остановилось, оборвалось. Для меня же единственным новым в жизни первых военных месяцев было участие в писании писем, посылаемых отцу на фронт. Бабушка частично читала нам то, что писал отец, а мы с Ильей рисовали картинки или писали свои каракули на листочках, которые вкладывались в письма взрослых.

В это время, помнится, была сделана попытка приучить меня к рукоделию. Надо было простеньким узором вышить платочек или

обвязать его крючком. На спицах мне показали, как делать петли. Но к обучению вязать носки или варежки взрослые так не приступили. Могу только предположить, что им было не до этого, да и я была ещё довольно мала в ту пору. Только значительно позже мне стало понятно, что пережила семья в эти тяжёлые четыре года.

Отец уже 30 августа 41 года оказался на одном из самых опасных участков фронта — под Брянском, где в составе 3-й армии должен был удерживать натиск танковых соединений Гудериана и где вместе со своей частью попал в окружение, из которого с боями в течение месяца пробивался к своим. О том, чего ему это стоило, он написал в ноябрьском письме своей матери. В нём он рассказывал о гибели многих однополчан, об изматывающих бомбёжках, об элементарном голоде, который они испытывали, пока находились в окружении и т. д. В дальнейшем он воевал на Орловском направлении, вместе с 3-й армией освобождал Орёл. Погиб он в Белоруссии в 43 году. Всё это время наша семья находилась в Воронеже, а в июле 42 года, когда немцы захватили Воронеж, попала в оккупацию.

Когда семья бабушки обосновалась в Воронеже, она, имея уже взрослых сыновей, взяла к себе в дом свою невестку Матрёну Николаевну, жену умершего брата Ивана с их сыном. Звали её все тётя Мотя, а её сына Анатolia, который был моложе нашего отца, стали звать Толей Маленьким в отличие от нашего отца — Толи Большого. Поступок этот бабушкин объяснялся её беспокойством, что оставшись без отца, Толя Маленький мог податься влиянию улицы. Мать Толи Маленького боялась, что она одна не справиться с ним. О том, что её опасения имели под собой основание, свидетельствует такой случай. Поссорившись с матерью, Толя Маленький иногда убегал из дома. Однажды самовольно, на крыше вагона железнодорожного поезда он приехал в Воронеж из Усмань, где жил с матерью, и один явился к бабушке. Через некоторое время, снабдив деньгами, его вновь отправили в Усмань, но стало ясно, что для него и для его матери будет благом, если бабушка возьмёт их под своё покровительство. Тётя Мотя надеялась, что влияние бабушки и её семьи уберечёт её сына от ошибок переходного возраста. И действительно, их переселение дало положительный результат. Толя Маленький не только не пошёл по дурному пути, но



Оккупанты на улицах Воронежа. Лето, 1942



Воронежцы покидают оккупированный город. Август, 1942



Беженцы под Воронежем. Август, 1942



Воронежцы возвращаются в родной город. Весна, 1943

учился, в дальнейшем в Ленинграде закончил медицинскую академию. В Ленинград поступать в медицинский институт он отправился почти так же, как когда-то в Воронеж — один, без денег, правда, на этот раз не на крыше вагона. После окончания института Толя Маленький перед самой войной и перевёз в Ленинград свою мать — тётю Мотю. Перед этим он женился. Свадьбу праздновали у нас дома в Воронеже. Спустя много лет я не раз от самых разных членов нашей и не только нашей семьи слышала рассказы об этой свадьбе, которая запомнилась всем прежде всего весельем собравшихся и главное тем, что в большинстве своём её участники обладали прекрасными певческими голосами. В семье была фисгармония, на которой самоучкой научился играть отец. У него был приятный баритон, дядя Митя обладал высоким тенором, у бабушки был чистый звонкий голос, подпевали и другие члены семьи — так что, как рассказывали — вся улица пришла послушать пение собравшихся. Кроме того, всех восхищала красота молодоженов. Об этом вспоминали спустя много лет все, кто присутствовал тогда на торжестве.

Когда началась война, Толя Маленький и его жена были призваны в армию как военные врачи. Их направили на Балтийский военно-морской флот, а мать Толи — тётя Мотя одна оставалась в Ленинграде, где её и застала блокада. Последнее письмо от неё было получено где-то в середине октября. Она писала о бомбёжках, о начинавшемся голоде. За ней по решению семейного совета должна была поехать мама. Но мамина поездка не состоялась и из-за стремительности событий — к этому времени Ленинград был уже окружён — и из-за собственных трудностей — то ли моя младшая сестра в это время болела, то ли были трудности материального характера. Так тётя Мотя и погибла в Ленинграде от голода, о чём через некоторое время бабушке написал в своём последнем письме Толя Маленький. Сам он и его жена пропали без вести, как в воду канули. Бабушка впоследствии говорила, что если бы они остались живы, она бы обязательно об этом знала. После смерти Матрёны Николаевны она была единственной родственницей Толи Маленького, с которой его связывали самые доверительные отношения, более близкого человека, чем она, у него не было.

В первые же дни войны пропал без вести и, очевидно, погиб и другой двоюродный брат нашего отца — девятнадцатилетний Миша

Михайловский — сын того сельского учителя, новорожденного сына которого выхаживала бабушка. За учителя после смерти его жены благодаря сватовству бабушки вышла замуж её подруга — глуховатая Вера Аристарховна — баба Вера, как мы её потом называли. И поскольку семьи были в постоянном тесном общении, а в голодные годы после гражданской войны дочь Веры Аристарховны Нина по приглашению бабушки жила у неё, дети Веры Аристарховны и Дмитрия Ивановича Михайловского считались двоюродными отцу и дяде. О судьбе Миши Михайловского Нина — его сестра пыталась узнать, как пытался узнать и отец. Уже после войны Нина Дмитриевна Михайловская делала самые разные запросы в военное ведомство, но выяснить что-либо о нём так и не удалось.

Драматически, если не трагически сложились в это время и судьбы шуринов Василия Васильевича Белопольского — родных братьев его жены. Братьев у неё было трое. Старший из них — Лев после окончания танкового училища участвовал в сражении на Курской дуге, где благодаря искусной провокации противника попал в плен. Во время боя расчёту его танка по рации на чистейшем русском языке был передан приказ выйти из машины. Подчинившись приказу, люди покинули свои машины и оказались в плену. Затем Лев Книжник оказался в концентрационном лагере на территории Германии, четыре раза бежал. Трижды неудачно, после чего на его ногах и спине, по свидетельству близких, остались навсегда следы от зубов овчарок, охранявших лагерь. На четвертый раз ему удалось скрыться в оккупированной немцами Франции, где он воевал в рядах французского Сопротивления. Чудом остался жив. Когда во Францию пришли союзники, он находился в лагере для интернированных лиц, где женился на украинской девушке, уяннанной во время оккупации в Германию. И только в 1947 году родные, жившие к этому времени недалеко от Воронежа, получили от него письмо, из которого узнали, что он жив. До этого о нём ничего не было известно.

Два других брата Марины Васильевны — Марк и Вадим — к началу войны были ещё студентами. Марк учился на втором курсе Воронежского лесотехнического института. Ушёл он на фронт добровольцем, участвовал в боях за Сталинград, пропал без вести где-то в конце 42-го или в начале 43-го года. Ни место его гибели, ни её точная дата неизвестны. Вадим, тогда только что поступивший на геологичес-

кий факультет Воронежского университета, в памяти родных остался как заядлый шахматист, увлечение которого привело его в круг знакомых В. Загоровского — известного в Воронеже шахматиста. У Вадима особая судьба. По состоянию здоровья он был освобождён от военной службы. Но обстоятельства сложились так, что в вагоне поезда, увозившего его в эвакуацию, у него украли документы, в том числе и справку об освобождении от воинской обязанности. Его заподозрили в дезертирстве, сняли с поезда, и отправили в штрафной батальон. Там он был минометчиком, но провоевал недолго — как и его брат Марк, пропал без вести где-то в районе Калача или Котельной. Точные место и дата его гибели до сих пор не установлены.

Остались лежать на полях сражений и мужья двух маминых двоюродных сестёр, о которых я, правда, мало что знаю, пожалуй, только то, что у их жён остались два сына.

Из родственников — дальних и не очень — более «повезло» дяде Мите — Дмитрию Дмитриевичу Михайловскому — двоюродному брату отца по линии Белопольских — племяннику нашего деда Белопольского Василия Николаевича. Он был мобилизован не сразу, а когда немцы вплотную подошли к Воронежу. Сражался он в рядах Красной Армии в районе Воронежского сельскохозяйственного института. Все воронежцы очень хорошо знают этот район с его комплексом институтских зданий, окружённых парками и учебными полями. В своё время он был для них прекрасным местом отдыха. В этом районе, а, точнее, на территории, прилегающей к нему Берёзовой рощи и стадиона «Динамо», в 42 году шли ожесточённые бои, в которых участвовало Воронежское ополчение под командованием Д. Кузыгина. В его рядах в качестве медсестры находилась Таисия Елизаровна Соколова, провожавшая отца на фронт. Дядя Митя был артиллеристом, стрелял из пушки. Его тяжело ранило, и в дальнейшем он был освобождён от воинской обязанности. По-видимому, это и спасло ему жизнь. Но его ждало другое испытание. После ранения он был назначен председателем райисполкома в Грибановский район Воронежской области. Находясь на этом посту в 47 году, когда в колхозах не было кормов, он в семье вернувшихся фронтовиков передал несколько колхозных лошадей. На него написали донос, и обвинили в развале колхоза, после чего осудили на восемь лет. Через четыре года освободили.

## ПЕРВЫЕ ВОЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

16 декабря 41 года отец пишет маме: «...Ты, конечно, знаешь, что нашему родному городу грозила большая опасность». Судя по всему, это понимание опасности было не только у отца. Жители Воронежа начали уезжать из города уже осенью 41 года. Это была первая волна эвакуации. Подумывали об отъезде и в нашей семье. Собирались перебраться в Таловую, где жила с мужем — преподавателем Таловского сельскохозяйственного техникума — родная сестра бабушки Елена Митрофановна (баба Лена). Впоследствии она рассказывала, что в ожидании нашего приезда насушила гору сухарей... Однако, поскольку семья перезимовала более или менее прилично, а к весне еще подешевели продукты, от отъезда отказались. К тому же от уехавших стали приходить письма с жалобами на плохое житьё-бытьё в эвакуации. Мама с бабушкой обычно держали общий совет, отец тоже поддержал их решение оставаться. 1 декабря он написал домой: «Я сообщал вам, что декабрь должен ясно показать, будет ли продвижение немцев. Если продвижение будет, то выезжать необходимо». Но уже в письме от 24 декабря он сообщает: «Сейчас всё изменилось к лучшему. Из Воронежа теперь никуда не уезжайте».

Летом 42-го года нашу улицу бомбили. Память не сохранила всех подробностей. Но отчётливо до сих пор помню погреб, где мы прятались. Он располагался под полом ветхого сарая рядом с домом. Внутри, включая и сводчатый потолок, он был выложен красным кирпичом и казался очень прочным. Но потом от него пришлось отказаться. Близкое попадание грозило обрушением кирпичных стен, которые могли засыпать всех там прятавшихся. Взрослые решили лучше перейти в шель, которую выкопали около заднего деревянного забора сада. При очередном налёте с нами обязательно была бабушка. Думаю, что именно благодаря ей наше детское внимание не задерживалось на рассказах об ужасах, которые происходили вокруг, особенно на рассказах о прямых попаданиях. Знаю, что на нашей улице, на месте, где был дом и люди, после бомбежки осталась одна глубокая воронка и больше ничего. Но наше сознание берегли, и тогда мы — дети об этом не задумывались.

По-видимому, бабушка, по природе своей, была бесстрашной, как говорила мне потом, она верила в судьбу и не испытывала ужаса

перед лицом смертельной опасности. Кроме того, чувствовала свою ответственность за жизнь других, особенно внуков, сберечь которых её просил отец, уходя на фронт. Бабушкина спокойная вера привлекала людей. К нам, на Трудовую, приходили и вместе с нами прятались многие родные и знакомые из тех, что ещё оставались в городе...

Бомбёжки продолжались. В один из налётов снаряд попал в наш дом, отлетевшим кирпичом ранило маму — ей на сторону свернуло скullу. Несколько месяцев она так и ходила — с перекошенным лицом. В этот же наёт контузило мою младшую полуторагодовалую сестру. Её засыпало землёй и ударило взрывной волной.

Перед самым приходом немцев ушёл из города Василий Васильевич вместе с женой. Он не был военнообязанным, так как болел туберкулёзом. Таково было семейное решение: считалось, что оставаться вблизи военных действий ему нельзя. Его жена в это время служила вольнонаёмной в госпитале, расположавшемся в 67-й школе. 2-го июля, то есть буквально накануне взятия немцами Воронежа, в госпитале объявили об эвакуации, и они вместе с мужем, которого ей разрешили взять, ушли из города с госпитальной колонной. Их маленького сына Илью бабушка оставила при себе, так как боялась, что мать не справится с трудностями, имея на руках больного мужа и маленького сына. Рассказывали, она сказала: «Ты позаботишься о моём сыне, а я о твоём». Илья остался с нами.

В те дни проходила вторая волна эвакуации. Многие уходили с какими-либо организациями, с которыми они были связаны — по службе, учёбе и т. д. Мама все эти дни обращалась в самые разные инстанции с просьбой помочь ей выбраться из города со стариками и малолетними детьми. Но транспорта нигде не было. Когда в очередной раз она пришла к официальному лицу со своей просьбой — это было буквально за день-два до вторжения немцев, ей сказали, чтобы она не разводила паники и спокойно возвращалась домой. Когда же она пришла туда на следующий день, в учреждении уже никого не было. Впоследствии у нас дома часто обсуждали эту ситуацию, было также много рассказов о том, что лица, которым позволяло служебное положение, в это самое время в кузовах полуторок увозили не только членов своей семьи, но и своё многочисленное имущество вплоть до кадок с фикусами и комнатных собачек.

Когда немцы подходили к Воронежу, отец был недалеко от нас — где-то около Орла. Он хотел немедленно выехать к нам вместе со своим товарищем по службе, тоже воронежцем И. В. Литвиновым. Они двоем отправились к командовавшему в это время третьей армией генерал-лейтенанту П. И. Батову, тот подвёл их к карте и показал на ней, что все пути к Воронежу были уже отрезаны. Так получилось, что, начиная с 4 июля 42 года по февраль 43-го, пока длилась оккупация, отец не имел о семье никаких сведений..

## ОККУПАЦИЯ

Для нас, как и для всех воронежцев, оккупация началась 4 июля 42-го года, когда на улицу, где мы жили, въехал и остановился у её начала немецкий танк. Вооружённые солдаты стали заходить в каждый дом и через переводчика требовать, чтобы все жители немедленно уходили из города. Это требование касалось буквально всех — старииков, тяжёлых больных, детей и т. д. Немцы произносили при этом одну и ту же фразу «фить-фить, пять минут», что означало — «вон отсюда через пять минут» Эта фраза стала затем для всех переживших оккупацию как бы поговоркой, к ней очень долго после оккупации прибегали, когда хотели немедленного исполнения какого-либо приказания, хотя в наших устах эта фраза приобретала больше насмешливый, чем императивный смысл.

Почему немцы нас выгоняли, для меня осталось загадкой. Скорее всего, они предполагали провести в городе какую-либо важную для них военную операцию и боялись, что жители в этом могут им помешать. На левом берегу города стояли части нашей армии. Линия фронта разделяла река Воронеж. Наша улица, как мне впоследствии стало ясно, была чуть ли не самой последней, занятой немцами в городе. В то время как район стадиона Динамо, Берёзовая Роща и вся территория СХИ еще оставались в руках наших. Поэтому изгнание жителей из той части города, где находились немцы, могло быть для них простой зачисткой местности, где им предстояло вести боевые действия. Факт остаётся фактом — все, кто не покинул города, в том числе, и остававшиеся в госпитале на ул. Сакко и Ванцетти лежачие больные, были либо уничтожены, либо угнаны в тыл к немцам. В результате наша семья оказалась в селе Першино Нижнедевицкого района. Мы находились там вплоть до освобождения села ранней весной 43-го года.

Сейчас трудно воспроизвести всё с абсолютной точностью и последовательностью, тем более, что многое моему сознанию — сознанию пятилетнего ребёнка было просто недоступно. Но одно могу сказать с уверенностью: война, оккупация, всё, что происходило вокруг, воспринималось мной и моим двоюродным братом не как что-то необычное, экстраординарное, другой жизни мы просто не знали и даже не могли предположить, что всё могло быть как-то по-другому. Мы только входили в жизнь, все происходящее было для нас единственной реальностью. Благодаря родным, оберегавшим нас, мы не испытывали отчаяния, состояния безысходности, неизвестности будущего, что так или иначе было уделом взрослых. Единственno, что, как мне кажется, надолго стало отличительной чертой нашего сознания — моего уж точно — это всегдашняя готовность к возможному повороту в жизни, тому, что в любой момент можно всего лишиться и оказаться перед необходимостью спасать себя и близких собственными силами. Всего значения войны мы, конечно, не осознавали. Осознание пришло значительно позже, спустя много лет, когда, семейный опыт начал восприниматься в его неразрывной связи с происходившим в большом мире. Именно тогда с пониманием связей частного и общего стало проясняться то, что до этого было скрыто, стало по-настоящему понятно, чего стоило все пережитое во время войны. А до времени все, что происходило с нами и окружающими в дни и месяцы оккупации, осталось в сознании лишь в виде отдельных обрывочных картин, каких-то не связанных друг с другом впечатлений.

Первая картина, которая всплывает в памяти: яркий солнечный день, в наш небольшой дворик входят немцы. Два или три человека. Впереди один из них. Я побегаю к нему и протягиваю ему жёлтый цветок, сорванный с клумбы. По прошествии многих лет, вспоминая эту сцену, могу сказать, что, по-видимому, воспитываемая в атмосфере доброжелательности, я могла полагать, что любого незнакомого человека входящего к нам в дом мы должны приветствовать. Никакого наущения со стороны взрослых не было, я точно знаю. После, спустя годы, бабушка говорила, что при виде моей выходки она оцепенела от ужаса. А немец остановился, наклонился ко мне, улыбнулся и взял цветок...

Дальше последовало то, что должно было последовать. Увидев деда, немцы через переводчика заявили, что он, как видно, еврей и

подлежит расстрелу. Не знаю как, но бабушке удалось их разубедить. Её вмешательство потребовалось и в случае с мамой. Её хотели отделить от нас, но крик бабушки о том, что у этой женщины дети, остановил их. Бабушка не любила вспоминать о тех событиях, но, кажется, считала, что немцы почему-то торопились, может, поэтому и оставили нас всех вместе.

Вторая из всплывающих в моей памяти картин тех дней. Все мы в компании с родственниками — больше десяти человек — идём в толпе, которая движется по улицам города. Стоит удивительно солнечный, жаркий летний день, но люди одеты так, чтобы можно было на себе унести как можно больше. Они в пальто, платках, кофтах, натянутых на несколько юбок и т. п. — кто в чём. Все ташат на себе мешки, набитые всякой домашней утварью, узлы. Кто-то тянет за собой тележку с наваленными доверху вещами. Мы, я и мой пятилетний двоюродный брат, тоже с поклажей. У нас за плечами рюкзачки с сухарями. Помню, что с некоторыми родственниками со стороны мамы мы как-то быстро разошлись, с другими держались дольше. С теми же, с кем мы были постоянно — это мама, родители нашего отца, и бабушка со стороны мамы — баба Маня, как мы её называли. Напомню, что нас, детей, было трое — кроме меня и моего двоюродного брата, с нами находилась ещё моя полуторагодовая сестра.

Уже когда я писала эти строки, неожиданно для себя от своих родственников я узнала, что об этих же днях остались записи Лидии Гавриловны Книжник — тёщи Василия Васильевича Белопольского. Мы вместе с ней и ее мужем переживали и бомбежки, прятались в шели в нашем саду, выгнанные из родного дома, собираясь из города, держались вместе, пока это было возможно. Добавлю ещё, что Лидия Гавриловна переживала в это время не только тяготы, связанные с оккупацией Воронежа. Она страдала и от неизвестности о судьбах своих пятерых детей. Две её дочери — старшая Марина и младшая Оксана — находились в разных местах в эвакуации. Оксана была эвакуирована вместе с мединститутом, где училась. А Марина — жена Василия Васильевича, была с ним в Пензе. С ними обеими, как и тремя сыновьями она надолго потеряла связь и не могла даже надеяться что-либо узнать о своих детях.

Лидия Гавриловна оставила дневник, в котором повествуется о перипетиях нашего ис-

хода из родного города. Записи были сделаны в небольшом блокнотике, дочери сохранили его. Поскольку всё писалось в экстремальной обстановке и, очевидно, наспех, текст записок довольно трудно прочитывается. Фразы обрывисты, не все теперь можно разобрать. Дневник писался автором явно для себя — такое ощущение, что просто для того, чтобы излить душу. Там много повторений, чисто эмоциональных реакций на происходящее.

Алексей Битриков, правнук автора записок попытался расшифровать написанное, хотя полностью эта работа еще не закончена. То, что восстановлено, является собой замечательный документ, поскольку дает всю картину глазами очевидца. Военных сцен в мемуарной литературе много, жизнь оккупированного тыла представлена значительно меньше. Наверное, потому, что сам факт пребывания на оккупированной территории, по представлениям официальных лиц, изрядно портил биографию человека.

Позволю себе воспользоваться записями Лидии Гавrilовны. Она свидетельствует: «Мы остались живы, не были ранены, пережили бомбёжки и пальбу, были изгнаны из дома. Одиннадцать дней жили на Чижовке под обстрелом, всё ждали, может, наши отбьют Воронеж, но 7-го пришлось уйти, оставаться было невозможно <...>. Белопольские пришли к нам. Ночевали мы в большом погребе <...> На эвакопункте около Воронежа на аэродроме мы расположились отдельно от Белопольских. Они у барака, а мы на открытом месте. Я к ним бегала, сидела, разговаривала <...>. Сначала шли через военный городок на эвакопункт, ночевали под открытым небом, а вблизи летали снаряды. День под палящим зноем. Без воды. Ждали, когда партию отправят к Дону. О переправе ходили разные слухи. Что там немцы всё забирают, что там наши с самолётов обстреливают уходящих... Но оказалось, что переправились через мост очень просто, ночевали за Доном в высокой траве, а вблизи рос удивительно сладкий горох. Потом шли дальше, ночевали за Семилуками в копнах. Потом ночь на эвакопункте в Латной <...> 8 июля, утром, на эвакопункте предложили желающим идти на Ендовище. Вася (муж Л. Г.) решил ждать отправки на Хохол. Белопольские пошли на Ендовище. Я сделала Вася скандал и двинулась на Ендовище, тогда и он пошёл тоже. Мы шли вперёд по сокращению и вообще шли быстрее — у них (Белопольских И. Б.) было две тележки,

и вообще груза много больше нашего <...> Я всячески задерживалась на остановках, поджидала Белопольских, и мы их не упускали из виду. Ночевали всё время порознь. У Латной мы их видели не до конца километра полтора. Там мы пошли на ночёвку на эвакопункт, утром рано нас с него вывели с конвоем и вели километра 4. Потом мы отставали, поджидали... и боязнь их не встретить. Надо было им (Белопольским) помогать, а я этого не делала.... Клавдия Митрофановна тащила мешок за спиной и Ксеньку (мою полуторагодовалую сестру — И. Б.), Тося (мама Антонина Николаевна — И. Б.) волокла тележку. Как сейчас, вижу её, похожую на бурлака тянувшего лямку, напряжённую, изнурённую с запёкшимися губами. После остановки в Латной несколько километров шли вдоль полотна под конвоем, потом пошли вразброс. Здесь мы потеряли Белопольских. Не могу простить себе, что рассталась с Белопольскими. Хоть бы словом обмолвилась с Клавдией Митрофановной. Она ведь тоже страдает»...

Мне тоже запомнилась дорога за станцией Латная. Там, по обеим её сторонам на равном расстоянии друг от друга стояли вооружённые автоматчики, которые как бы направляли и контролировали толпу. Потом, вспоминаю, мы проходим через какое-то село. С краю, у дороги, не просто горит, а пыхает хата, крытая соломой. Огонь никто не тушит, рядом остановилась незнакомая женщина и на виду у всех, подняв юбку, спрашивает малую нужду. Что ещё чётко отложилось в памяти — это страшная, необычная жара, которая стояла в эти дни. Я не могу припомнить ни одного дождя, хотя накануне они, очевидно, были, потому что по дороге время от времени попадались лужи. Светит солнце, хочется пить, и мы кружками черпаем воду из луж и пьём. Помнится даже, что в самых глубоких из них попадались головастики. Внимание бабушки, как и мамы, в это время было поглощено не только обстоятельствами, в которых мы оказались, но и расстроенным здоровьем моей младшей сестры. Впоследствии бабушка говорила, что она держалась только из-за страха за внуков, ей казалось, что она не выдержит дороги, умрёт, что у неё не хватит сил, чтобы пережить весь обрушившийся на всех ужас.

Мне многое не восстановить сейчас. Но в памяти сохранились отдельные картины нашего пребывания в селе Першино. Мы живем в какой-то избе. Хозяев не помню, как не пом-

нию того, чтобы в наше жилище кто-то приходил. Лишь однажды, это было уже ранней весной, в нашу хату прибегает кто-то из местных жителей, говоря, что наша мама лежит убитая около села. Выйдя из хаты, на одном из склонов, ведущих к селу, мы видим лежащую на снегу женщину, одежда нам знакома. Страшно... Проходит какое-то время. Стучат в дверь... Мама! Оказалось, по ней стреляли, и она, как учил её в письмах отец, зарылась в снег и притворилась мёртвой. Пролежала она так почти полдня, и лишь когда стемнело, пошла домой.

Могу представить себе ужас, охвативший взрослых. Ведь со смертью матери гибель угрожала всей семье. Она была ее единственной защитой и опорой. Только сейчас понимаю, насколько тяжелой, даже непосильной была ее жизнь в военные годы. Судьба шести человек (три старика и трое детей) зависела от нее. Выдюжила, подобно «многим женщинам в русских селеньях»...

Смутно вспоминается и бой за освобождение села Першино, который, как нам впоследствии стало известно, вело подразделение Красной армии под командованием сына В. И. Чапаева. Самый конец зимы, снег только-только начал таять. Погода стояла пасмур-

ная, промозгая. В памяти сохранилась сумеречная картина. Бой шёл в самом селе. Мы все находились в хате, через которую перелетали снаряды. В какой-то момент возникло ощущение смертельной опасности, когда возле самого дома упала мина, отскочив, перелетела через дом и разорвалась по другую его сторону. Об этом после было много разговоров. Мы лежали на полу, на соломе. Взрослые не только укрыли детей всем, что было под руками, но и легли на нас, вероятно, считая, что таким образом скорее спасут детей от прямого попадания. Сомнительно, что это могло нас спасти, зато мы чувствовали себя в безопасности и никакого ужаса не испытывали. Нам даже было интересно, чем всё закончится. Видимо, stoическое спокойствие, свойственное нашему дому, ощущалось и окружающими. В самый разгар боя к нам в избу прибежал соседский мальчишка лет двенадцати и попросил разрешения остаться с нами. Он объяснил, что не может больше оставаться у себя в хате, потому что там стоял истошный крик, все голосили, в ужасе кидались из угла в угол. «А у вас, — сказал он, — никто не кричит, все спокойные»...

К утру бой стих, и я выглянула на улицу. Первое, что бросилось в глаза, — смертельно раненная лошадь. Она была серой масти, сто-



*Белопольский В. В. Беженцы. Этюд к картине «Уход населения Воронежа на восток». 1944*

яла у самого порога нашей хаты, из ее живота до самой земли свешивались внутренности. Через некоторое время она упала. Из дома нам выходить запрещалось, потому что время от времени продолжалась стрельба. Наши вели огонь по местной церкви. Она, как почти во всех русских сёлах, стояла на самом видном месте, говорили, что на её звоннице засел немецкий снайпер, которого никак не удавалось обезвредить.

В книге Ильи Эренбурга «Летопись мужества», состоящей из корреспонденций, написанных им в годы войны для зарубежной печати, приводится заметка одного французского обозревателя: «Под Воронежем лежат десять тысяч трупов, среди них ни одного немца, все итальянцы, румыны, венгры, словаки». «Это, пожалуй, чересчур живописно и притом неверно, — возражает ему автор «Летописи мужества», — под Воронежем действительно много трупов, причём на одного убитого венгра приходится 2–3 убитых немца. Ни румын, ни итальянцев, ни словаков на этом участке фронта не было и нет» (Эренбург И. Г. «Летопись мужества». М.: Сов. Писатель, 1983. С. 207.).

В годы, когда происходили эти события, я не задавалась вопросом, против каких войск конкретно воевала наша армия в селе Першино. Но судя по данным, имеющимся в настоящее время в архивах, И. Эренбург был абсолютно прав, возражая иностранному корреспонденту. У села Першино были в основном венгерские части, но и немцы здесь сражались тоже. Зрительно у меня в памяти остались чёрные мундиры. Из окон нашей хаты мы видели, как они сдавались частям Красной Армии. На подтаявшем снегу были чётко видны их силуэты. А потом мы наблюдали, как эти черные человечки вставали и поднимали руки. Их тут же скашивала пулемётная очередь. К концу дня белый от подтаявшего снега бугор стал весь чёрным. Наверное, в это время обстоятельства не способствовали тому, чтобы брать пленных...

В одной из дневниковых записей, оставшихся после отца, рассказывается как, оказавшись в окружении в октябре 41-го года, он и его товарищи были вынуждены расстрелять захваченных ими пленных. Ещё накануне он с ними беседовал. Они говорили, что кончили воевать, просили, чтобы их оставили в живых, говорили: «Комрад, мы будем с вами». Среди них было трое молодых... Ночью их расстреляли. «...Ничего нельзя было сделать.

Да они и сами это отлично понимали», — заключает отец.

Уже после освобождения села пронёсся слух, что неподалеку в поле приземлился самолёт. Мы, ребятишки, побежали на него смотреть. Была холодная весна, снег уже почти сошёл, но не везде. Мы подбежали к самолёту. В 5–10 шагах от него лежал неубранный убитый. Он был один в поле, вокруг него не было ничего, что напоминало бы о происходившем здесь ранее. На труп никто не обращал внимания. Но когда я увидела его, мне бросилась в глаза большая, вся развороченная, красная, как свежая говядина, рана в нижней части его туловища. Труп был замёрзший, никаких признаков разложения видно не было. Убитый был раздел до нижнего белья, и потому, что его бельё было из толстого матового шёлка, можно было догадаться, что это был солдат вражеской армии. Такое шёлковое бельё в то время попадало к населению в качестве трофея. В Першине сразу после освобождения пронёсся слух о захваченном немецком обозе, и местные жители бегали туда. Однажды маме удалось каким-то образом раздобыть комплект трофейного белья. Из одной его части она сшила себе юбку, а кальсоны пошли мне на платье, в котором я щеголяла первые годы после оккупации.

Этой же весной, по-моему, в марте, в кузове полуторки мы ехали из Першина через Воронеж в село Староживотинное. Тогда оно относилось к Берёзовскому району Воронежской области. Мама получила туда назначение на должность лесничего в учебно-опытный лесхоз от Воронежского лесотехнического института. Никогда в жизни, ни до ни после, я не ездила по такой дороге. Мало того, что мы перебирались на новое место в самый разгар весенней распутицы. Это была дорога, изрытая снарядами, бомбами, вся в огромных воронках. Каждый раз казалось, что машина вот-вот перевернётся. Её борта накренялись так, что мы со всеми нашими узлами оказывались то у одного края кузова, то у другого. На этом пути мы оказались в числе первых, кому открылось, что произошло с Воронежем за время нашего отсутствия. Едем через Проспект Революции. Непонятно, как нам вообще удалось по нему проехать на грузовой машине. Фасады домов, мимо которых мы проезжали, валялись на земле. Почему-то полностью были обрушены именно фасады, загромождавшие обломками кирпичей всю проходную и проезжую стороны проспекта.

Остальные части зданий торчали вверх обугленными полуразрушенными, изрешеченными пулями и осколками от бомб и снарядов стенами. Взгляду открывались внутренности зданий. Целые кварталы представляли собой пепелище. Но проспект производил особое впечатление. Это была не пустыня, а как бы шель, пролегающая между оскалившимися каменными челюстями какого-то фантастического чудовища. В щелях и норах развалин бегали крысы. Если прибавить, что мы созерцали эту картину, когда вокруг стояла неприветливая, промозглая погода, то наши ощущения легко себе представить. Проспект был, очевидно, единственным разминированным коридором через Воронеж. В тот раз мы так и не смогли побывать в своем доме.

## СТАРОЖИВОТИННОЕ

В Староживотинное приехали ближе к вечеру. Весь путь от Першина до села нашего назначения в моей памяти почему-то остался как путь в непрекращающихся сумерках... В предрассветной темноте мы выезжали и приехали тоже когда было и пасмурно, и тускло. Староживотинное лежало в снегу, дома были засыпаны почти до самых крыш. Через село вела только узенькая, протоптанная тропинка, в домах, вернее, в жалких хатках под соломой, не было ни одного огонька. Некоторое время мы сидели на узлах посреди села, пока мама ходила узнавать, где нам можно было остановиться.

Староживотинное — небольшое село, расположенное в тридцати километрах от Воронежа в теперешнем Рамонском районе. Раньше, до революции, оно принадлежало разным владельцам, последним из которых была Ольга Александровна Романова — сестра Николая Второго — «княгиня», как её звали в селе. Сама она здесь не жила, приезжала иногда на лето, по словам старожилов, ходила по окрестностям с мольбертом в сопровождении адъютанта — она увлекалась живописью. Постоянно в Староживотинном жил её управляющий, в доме, окружённом парком, состоявшем из разросшихся дубов. Дом и выстроенная чуть в стороне от него изящная церковь составляли как бы административный центр села. Перед ними располагалась просторная деревенская площадь, а чуть сбоку находился пруд. Говорили, что, раньше местные жители загружали в него на зиму бочки с солёными огурцами. В настоящее время организующим центром в Староживотинном является лесничество,

которое подчиняется Воронежской лесохозяйственной академии как её учебно-опытное хозяйство.

Когда мы приехали в Староживотинное, «немца», как говорили местные жители, уже отогнали. До этого немецкие части стояли сразу за Доном, то есть от нас в 7–8 километрах. Село не бомбили, но то, что это была прифронтовая полоса, ощущалось. Впоследствии мы слышали много рассказов о том, что происходило в селе в это время. Один из рассказов, помнится, был об одном старице, которого немцы повесили за какую-то провинность у себя за Доном. Рассказывали, что, когда его вели к виселице, он попросил конвоиров, чтобы ему развязали руки. «Я сам пойду», — сказал он. И когда немцы выполнили его просьбу, он схватил табуретку, на которую должен был стать, чтобы накинуть себе петлю на шею, и ею до смерти убил стоявшего рядом с ним немца. Старица, конечно, повесили, но меня поразила сила его решимости и способность так биться в, казалось бы, безнадёжной ситуации. Много также рассказывали о предательствах, дезертирствах и т. д.

Первое время мы жили в чьей-то избе. Что это была за изба, я сейчас не вспомню, помню только, что от плохой печки я постоянно уговаривал, и при первом моём крике «мне плохо» бабушка выносila меня на воздух. С самых первых дней нашего пребывания в Староживотинном вся жизнь села была сосредоточена вокруг лесничества, где лесничим в это время назначили маму, и мы очень гордились этим. Контора лесничества находилась недалеко от барской усадьбы, где, кроме мамы, было ещё трое или четверо служащих — все женщины. Из мужчин в это время в лесничестве работали конюх и один лесник — Семён Иванович Бухонов, впоследствии ставший маминым кумом. Оба достаточно пожилые люди к этому времени. Остальные рабочие — исключительно все — или подростки-мальчишки, или девушки лет в пятнадцать, шестнадцать. Они и делали всю работу. В эту пору село уже жило обычными заботами, хотя война была еще не так далеко. О ней мы, дети, в это время почти ничего не слышали. Нас необычайно привлекал незнакомый нам, городским жителям, мир природы, окружавшей нас в Староживотинном. Мамы мы практически не видели — она с утра до вечера была на работе. О том, что происходило в лесничестве и как у неё шли дела, она дома и тем более при нас никогда не рассказывала, считая, что семью, детей не

должны затрагивать её заботы и переживания вне дома. Спустя много лет она при мне однажды призналась, как тяжело ей было в это время справляться со своими обязанностями. Сейчас я это легко могу себе представить, поскольку тогда в лесничестве было очень много тяжёлой работы — шли посадки леса на больших площадях, кроме того, там было большое хозяйство — держали лошадей, коров, даже птицу. Я до сих пор помню огромного индука, который однажды клювом разорвал брюки военкому, явившемуся в лесничество с какой-то проверкой. Все село немало повеселилось по этому поводу.

Между селом и другими населёнными пунктами практически не было никакого транспортного сообщения. В соседнее село Айдарово, в Рамонь и даже в Воронеж жители ходили пешком, в лучшем случае, с санками, но чаще просто с перекинутыми через плечо мешками или сумками (это называлось назаднаперёд). Лошади были постоянно заняты на работах в лесничестве, чтобы воспользоваться ими требовалось специальное разрешение. Старожилы хорошо помнят об этом и сейчас.

Всё своё время мы проводили, как и всегда, с бабушкой Клавдией Митрофановной. Другая наша бабушка по матери — баба Маня — сразу же завела домашнее хозяйство. До войны она занималась разведением цветов. Но теперь ей пришлось держать корову, чему все взрослые придавали большое значение.

Мне запомнились первые по-настоящему весенние дни, которые мы встретили в Староживотинном. Это тоже как бы отдельные задержавшиеся в сознании картины. Одна из них — тёмный, пасмурный день, видневшийся за прудом лес, в котором на дереве, близко от опушки, повесился какой-то мужчина. Мы, дети, (я и мой двоюродный брат) смотрим на это издали. Но местные мальчишки подходят к трупу и бьют палками по его вывалившемуся языку. Сейчас такую сцену не то что невозможно увидеть, но её представить себе трудно, может быть, даже невозможно. Но тогда ужасное было рядом, а детское сознание не в состоянии было осознать ни безобразия глумления над трупом, ни самого значения смерти. Поведение мальчишек было выражением крайнего, во многом стихийного ожесточения. Характерная черта времени.

Тогда те, чьи близкие были на фронте, не навидели тех, кто, как говорили тогда, «окопался в тылу». Ничтожный повод вызывал не-

адекватно злобную реакцию. Помню мамину ссору с обидевшей ее женщиной из проходившей воинской части. Ссору, с обеих сторон злобную и несправедливую. Так выражало себя внутреннее раздражение людей, уставших от тягот войны.

Мы так и не узнали, кто был повесившийся мужчина и что стояло за этим самоубийством. Но в первый же после этого события вечер кто-то из местных ребятишек шёпотом рассуждал о том, что душа, вылетевшая из тела повесившегося, может однажды появиться перед нами в виде страшного призрака и принести несчастье. Именно с этого времени тёмный ночной лес стал вызывать у меня безотчётный ужас. Если в дневное время он воспринимался мною как хранитель покоя и тишины, то под дождём, в сумрачные, пасмурные дни, и тем более, ночью, он казался страшным, таинственным и угрожающим. Враждебным.

Кроме леса, пространственным впечатлением тех лет были огороды. Сейчас кажется, они тогда располагались везде — куда ни кинь взгляд, занимали огромные площади. Настолько большие, что находившиеся на них люди виднелись как бы на фоне неба. По этим вспаханным площадям закутанные в платки, в стёганых ватных теплушках, в грубых до колен сапогах ходили местные женщины и молча, нагнув головы, в пустые вёдра набирали мёрзлую картошку. Или: солнечные, летние дни, мы с братом на прополке. Перед нами длинные, как будто нескончаемые, рядки только что взошедших ростков то ли свеклы, то ли фасоли, то ли гороха. Мы старательно дёргаем руками сорняки, передвигаемся по грядкам, нагнувшись, а то и просто на коленках — так почему-то нам кажется удобнее и быстрее. А еще помню, как мы с увлечением бегаем по саду при барском доме, разыскивая съедобные корешки и листики конского шавеля, ягодки дикой клубники... Особенно много её было на пойменном лугу реки Воронеж в трёх километрах от села, куда местные женщины ходили пешком, чтобы доить пасущихся там коров.

Голодными мы, по счастью, не были, но нормальным военное детство не назовешь. Игрушек у нас не было, но мы в них особенно не нуждались. Деревенская жизнь предоставляла детям свои развлечения: учились ездить на лошади верхом, без седел, Бегали босиком по стерне во время сенокоса. Устраивали похороны упавших из гнезда птенцов... Детство есть детство. Теперь оно кажется не омра-

ченным. Но какие-то огорчительные детали невольно всплывают в памяти. Например, унизительная очередь за какой-то гуманитарной помощью: мама проталкивает нас с братом вперед, называет нас пострадавшими, а мне почему-то неловко от ее слов... Но в ту пору я была еще слишком маленькой, чтобы в полной мере осознать серьезность переживаемого семьей и страной момента. Осознание пришло позже.

## ОТЕЦ

Огромным событием во время нашей жизни в Староживотинном был, конечно, приезд отца. В самом начале апреля 1943 года по разрешению командования отец приехал в Воронеж на четыре дня. Для меня, уже шестилетней, эта встреча, состоявшаяся после двух лет разлуки, явилась самым ярким переживанием военных лет. По сути, это была единственное более или менее осознанное знакомство с отцом.

...Мы ещё спим, бабушка будит меня. Спросонья я ничего не понимаю. Первое желание — выскоочить из рук, крепко меня держащих. Рвусь куда-то к стене, слышу: «Смотри, смотри — это же папа, это твой папа». Незнакомый человек откуда-то издалекого и чужого мира. Что-то новое, не знакомое. Первое ощущение, когда отец меня обнял — жёсткая и колючая щетина на его щеках. Пахнет какой-то сложной смесью табака, бензина и почему-то, как мне показалось, сырых ремней, которыми он был перепоясан. А лицо его, выражение его глаз остаются для меня как бы в тени. Как в тени остаётся и всё, происходившее в момент встречи. Раннее утро, мы все сидим за столом. Я не вникаю в разговор взрослых, смотрю на отца.

За то короткое время, что отец провёл с нами в Староживотинном, никаких разговоров о пережитом им за время разлуки у нас, детей, с ним не было. Позже мама рассказывала, как тяжело, как страшно пришлось ему в окружении, как много пережил он в первые месяцы войны. Но я понимаю, что нам, детям, он не мог обо всём этом говорить. Но вот что удивительно. Пробыв с ним вместе считанные часы, почти мгновения, я, разумеется не проникла в его внутренний мир. Он так и остался для меня нераскрытым. Тем не менее, за ничтожно малое время, отпущенное нам для общения, он успел так расположить меня к себе, что я сразу готова были поделиться с ним всем, что составляло в тот момент для меня главный интерес жизни.

В памяти осталась сцена: отец, мой двоюродный брат и я идём по дорожке, огибающей фасад барского дома, мимо церкви и аллеи из кустов сирени. Мы с братом увлеченно рассказываем отцу о саде, о ребятах из лесничества, о том, что в одной из комнат барского дома есть камин, а в самой большой его комнате посреди пола вырыта траншея, из-за которой оказался попорченным изумительно красивый линолеум, расписанный огромными разноцветными цветами. Отец молчит, он слушает нас, слегка наклонив голову...

Приезд отца и наше пребывание в селе Староживотинном приходятся на время, когда в Отечественной войне ещё должны были произойти многие решающие её исход события. Тогда фронт был не так уж далеко от нас. Как известно, летом 43 года произошло сражение на Курской дуге. В селе, его окрестностях располагались воинские части, всех трудоспособных жителей направляли на рытьё окопов и укреплений. В здании начальной школы, построенном каким-то купцом ещё до революции, располагался госпиталь. Умерших раненых хоронили рядом, в начинавшемся невдалеке овраге. В лесу, который окружает деревню, даже сейчас можно найти следы окопов, траншей, места, где были блиндажи, разобранные после войны. От всего этого остались неглубокие ямы, скошенные книзу углубления, заросшие травой и небольшим кустарником.

Когда шла битва на Курской дуге, над селом волнами пролетали построения боевых самолётов. Грохот стоял такой, что в конторе лесничества, где служила мама, она и её сотрудники ложились на пол и старались чем-нибудь укрыться. Рассказывали, что одна из сотрудниц так боялась в этот момент, что всякий раз, когда пролетала очередная партия самолётов, забиралась под стол. Уже после войны я спросила маму: «Как же вы не боялись так близко находиться от фронта? Ведь уже случилось, что неожиданный прорыв немцев обернулся для нашей семьи оккупацией».

«А мы были уверены, что на этот раз этого уже не произойдёт», — отвечала она. Такую же оценку происходившим в это время событиям в письме от 11 июля 43 года давал и отец. Спрашивая, как мы живём после его отъезда, он замечает, имея в виду Курское сражение, — «Небось волнуетесь» и дальше продолжает: «Не беспокойтесь, на этот раз до вас не дойдёт. Фрицу крепко дают по зубам .... Сей-

час у нас весело. Ночью от бомбёжки светло, как днём. Фриц получает хорошую порцию... Всё, как говорится, идёт к лучшему». То есть все наши близкие в это время уже даже мысли не допускали, что очередной прорыв немцев был бы возможен.

В Староживотинном много лет спустя мне удалось однажды встретиться с участником Курского сражения. Это был тихий, безобидный старик, проживавший свой век с приютившей его женой. На Курскую дугу он попал как штрафник. Его рассказ мне показался интересным, так как он передавал ощущения простого, рядового человека, волею случая оказавшегося в центре события мирового масштаба. Он рассказывал, что на поле перед сражением навозили горы снарядов. Когда же всё началось, понять, что и где происходит, было практически невозможно из-за сплошного шквального огня, грохота и дыма. Так же невозможно было объяснить себе, каким образом в этом аду ты остался жив. Было что-то сверхъестественное в происходящем. Дядя Ваня — так звали этого бывшего участника Курского сражения — воспринимал его как светопреставление.

В своё время отец написал родным, что, уже отправляясь на фронт, он и его командир И. В. Литвинов — тоже воронежец — договорились друг с другом, что, если с кем-нибудь из них случится непоправимое, другой обязательно известит об этом семью. Литвинов выполнил своё обещание.

Хорошо помню день, когда мы получили извещение о гибели отца. Перед домом, где мы в это время жили, располагался большой двор, посреди которого росла многолетняя лиственница. Возле неё мы, ребятишки, иногда устраивали сборы, а иногда и потасовки. Однажды посреди двора, недалеко от этой лиственницы мы видим тяжёлый небольшой мешок с указанием места назначения и обратным адресом отца. Бабушка при взгляде на него заплакала, сказав, что чувствует не-доброе. В посылке оказались вещи отца, его фотографии, письма, — всё, что оставалось после него. Первый раз за всё время войны я видела, как плакали навзрыд взрослые, как в голос, отчаянно кричала мама. Помню, пришедших к нам односельчан, маминых со-служивцев. Все плачут. В моём сознании этот день остался как своего рода рубеж. То, что произошло в октябре 43 года, перевернуло нашу жизнь.

За четыре месяца до гибели отцу исполнилось тридцать четыре года, маме в июле 43-го «стукнуло» тридцать. Мне было шесть, а младшей сестре всего два года. В июне 43-го сравнялось десять лет браку наших родителей, два из них пришлись на войну. За этим последовали тридцать шесть лет маминого вдовства и все долгие годы нашей безотцовщины...

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Война еще шла, а забота о покинутом воронежском доме не оставляла взрослых. Сначала с санками пешком из Староживотинного туда отправился дед Василий Николаевич, чтобы на месте увидеть, в каком состоянии находится дом и по возможности привести его в порядок. Потом настала очередь и остальных. Увиденное поразило. Сторона улицы против нашего дома была полностью разрушена — просто сметена с лица земли. Даже развалин от домов не осталось. Наш дом, как и другие на этой стороне, уцелел. Несмотря на несколько попаданий, его можно было приспособить для жилья, хотя вещи были полностью разграблены. Все равно, это была удача.

Поразило зрелище невиданной разрухи. Весь небольшой двор завален выброшенными остатками домашнего скарба, каким-то хламом. Прямо на земле валяются развороченные, растрёпанные книги, листки газет и журналов, вмёрзшие в подтаявший снег. (Одна из книг со следами мокрых подтёков — «Эстетика» Гегеля — до сих пор хранится в моей небольшой домашней библиотечке).

Оказалось, что во время боёв за Воронеж сгорел дом нашей бабушки по матери — Марии Фёдоровны Журавлёвой. До войны она жила отдельно, а теперь переселилась к нам, заняв угол в небольшой кухне. В той же кухне жила ещё одна бабушка — Ульяна Афанасьевна, свекровь одной из маминых двоюродных сестёр. К этому времени она ничего не знала о своём пропавшем без вести сыне, лишь спустя много лет узнала о его смерти. Нельзя сказать, чтобы эти бабушки, живя бок о бок друг с другом, дружили, но и каких-то крупных ссор между ними я не припоминаю. Общая беда сближала. В ту пору многие селились в землянках.

С трудом входили в новый жизненный этап. Приблизительно через месяц после прибытия в Воронеж дедушка начал работать главбухом в Кагановичском райкомхозе. Начинался новый этап жизни...